

Валентину РАСПУТИНУ — 50 лет

Дорогой Валентин Григорьевич! Вот и грянул Ваш первый юбилей. Скажем откровенно: для многих Ваших коллег, Ваших читателей эта первая круглая дата — неожиданность, ибо многие считали, что Вам гораздо больше лет. Почему? Да потому, что совестливая, искренняя распутинская проза, честная, взволнованная публицистика Распутина давно с нами, давно живут среди нас. Зная, как претит Вам всякое суесловие, тем паче хвалебные оды, не станем сегодня дотошно вдаваться в достоинства Ваших произведений, говорить напыщенные «казенные» слова. Вы не нуждались в них ни в начале своей литературной деятельности, не нуждаетесь и сейчас. Достаточно одного только факта: книги Распутин не стоят на полках в книжных магазинах, нет их и на полках библиотечных — они всегда «в ходу», всегда в работе. Это ли не признание Вашего таланта, это ли не пример для многих литераторов?

Есть какая-то неизменяемая закономерность, что именно «во глубине» Сибири, на берегу старой Ангары, родился большой писатель Валентин Распутин. Писатель, чьи книги шагнули не только за пределы великой Сибири, но и всего Отечества. Закономерно и справедливо, что здесь, в краю истовых тружеников, в краю сильных душой и телом, родился настоящий труженик слова и бескомпромиссный борец со злом. И в том, что ныне по-

ставлен заслон переброске северных рек на юг, что за сохранение, за чистоту «святого, священного» Байкала — сокровища Земли вступают все новые народные силы, есть немалая заслуга писателя-гражданина Валентина Распутин.

Счастлива писатель, чьи литературные герои живут в народе. Со своими думами, со своими болями, неприметно, ненавязчиво, но неотступно живут с нами Ваши литературные земляки и землячки: Мария, старуха Анна, Настёна... Живут, чтобы не засыпали в нас совестливость, сострадание к чужому горю, чтобы не угасала в нас любовь к «малой» родине — истоку, роднику духовности каждого человека, духовности незамутненной, неокамневшей — на роду написанной.

Поздравляя Вас с днем рождения и присвоением звания Героя Социалистического Труда, от всей души желаем доброго здоровья, большого счастья нашему другу и собрату по творческому цеху. Многих лет Вам, Валентин Григорьевич, вдохновенного служения Отечеству, родной литературе!

СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР,
СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

«Литературная газета» присоединяется к этим сердечным поздравлениям.

Сергей ЗАЛЫГИН

Народность ПИСАТЕЛЯ

ЕСЛИ мы говорим о писателе, что он народный, это значит, что речь идет не только о нем самом, но и о литературе, которой он близок, которая близка ему.

И еще это значит, что произведения, которые он создает, останутся на многие годы после нас, после него, поскольку любое творчество, которое не вошло в сознание по крайней мере нескольких поколений людей, нельзя назвать народным.

Вот мы спорим между собой о том, что в сегодняшней литературе хорошо, что плохо, что отлично, а что претиточно: подпускаем при этом шпильки друг другу, выносим оценки, печатаем обзоры и приговоры и проходим мимо того, без чего спустя срок литература обойтись уже действительно не сможет — читатель не сможет, в целом культура наша не сможет.

Но таково уж свойство всего того, что «вокруг» — вокруг действительно высоких произведений искусства, что на первых порах окружение, комментарии, оценки кажутся нам даже более существенными, чем то, что они окружают, комментируют и оценивают.

Все это, конечно, не значит, что если перед нами исключительное литературное явление, то и споры вокруг него не должны быть никакими, что нет в таких спорах смысла.

Смысл есть. Смысл будет, если подойти к творчеству такого писателя, как к литературному явлению, распознать, из каких начал оно вышло, так как ничто не дает столько ответов на вопросы, как истоки явления, его начала, из которых как раз и уясняется, какое воздействие и каким художественным приемом, каким образом, какой мыслью это явление оказывает влияние на нас.

И если уж точно или не совсем точно мы обозначили очень серьезную, очень значительную часть нашей современной литературы как литературу «деревенскую», так Валентин Распутин, конечно же, наиболее последовательный ее представитель. А значит, к нему же в первую очередь относятся и все те претензии, которые к такой литературе предъявляются: она патриархальна, она заведомо ограничена.

Может быть, и так, отчего же? Но ведь и литература всякая, ничем не ограниченная — это отнюдь не литература всеобъемлющая, большая того, от нее два шага до литературно-кустарного промысла. Умение писателя ограничить себя, ограничить, идти уже не вперед, а вглубь — это серьезное умение, серьезное и необходимое.

Да и что понимать под патриархальностью? Может быть, наша память патриархальна? Нравственность, которой без памяти просто-напросто не может быть, патриархальна? Человечность — патриархальна?

А тогда уже и действительно нельзя ответить на вопрос: если тот же Распутин патриархален, если он местный и деревенский, ограниченный и узкий, тогда почему же он читается так далеко за нашими пределами? В Мексике, в США, в ФРГ — какой там, право, интерес следить за событиями военного времени в деревне Атамановке о двадцати дворах, расположенной на берегу какой-то там сибирской реки под названием, кажется, Ангара?

В чем же тогда дело? Хотим мы этого или не хотим, а «деревенская» литература все еще остается народной в прямом смысле этого слова, и даже после того, как из мира сего уйдет ее последний художник, она таковой опять останется. Останется навсегда.

Дело в том, что перед нами — явление литературы, а явления в ней, хотя бы и в мировой, в каждое десятилетие не так уж много, по пальцам перечесть.

Дело в том, что не наше, не читательское дело указывать большому писателю,

где, когда и как, с участием каких героев должно развиваться его произведение, это уж он сам решит, без нас, соучастников в этом выборе могут быть разве только его собственная судьба и собственные же привязанности, и это попросту неэтично, а то и глупо судить-рядить о том, зачем это Атамановка понадобилась автору, то ли он не нашел, бедняга, места действия поинтереснее? Ума у него не хватило собственного, так надо ему подсказать со стороны — что и как.

А то вот еще старухи — Анна, Дарья! И это в космический-то век? Какой ужас, какой позор для нашего-то современного мышления! Но почему это космическое мышление, которое и во сне, и наяву не покидает мечта о том, какой бы это еще придумать парадокс, почему оно отвергает парадокс такого рода: люди в корабле специального назначения летят на Луну или на Марс и в пути читают «Последний срок», а то и «Прощание с Матерой»?

Вполне может быть. Читаем же мы и сегодня Шекспира. И Гомера читаем.

Иногда у нас оспаривается само понятие «народ» — где он, что это такое? Не то в тридцатые, не то в семидесятые годы его окончательно не стало, наука все еще не установила точно — когда именно, наука мешают приходящие обстоятельства, вот-вот она освободится от этих обстоятельств, а тогда уж и точно установит дату.

Но вот в чем дело: покада в нас живут те образы, которые представляют народ, есть и будет и сам народ. До тех пор, пока я читаю Толстого или Чехова и узнаю в их героях самого себя, узнаю свое, узнаю так, как не способен узнать ни американец, ни швед, ни японец, до тех пор я — тоже народ имарек, конкретный, исторический и современный.

Не из космического пространства эти образы, это искусство. Они к нам пришли, приходят и не из выдумки писателя. На такого рода выдумки способен писатель рядовой, посредственный, но не писатель-явление, этот ничего не выдумывает, он только открывает — ту действительность открывает, мимо которой мы то и дело проходим, не замечая ее, сегодняшнюю ли, вчерашнюю ли, современную или историческую — но ее.

И кто это сказал, что вчерашняя действительность — уже не действительность, а в лучшем случае — наука, называемая историей? Пусть тот, кто это утверждает, попробует исключить из самого себя сегодняшнее свое прошлое — что от него останется?

Больше того — народ живет и действует как народ до тех пор, пока у него есть представление о самом себе, представление не только реальное и критическое, но и возвышенно-нравственное...

Мы, народ, через своих художников и мыслителей можем сколь угодно критически оценивать себя, упрекать себя, рисовать более чем суровые и жестокие картины своей жизни — Достоевский такие картины рисовал в «Преступлении и наказании», в «Бесах», а нынче Астафьев рисует в «Печальном детективе», и тот же Распутин — в «Пожаре», но все это они делают прежде всего потому, что перед ними, как ни перед кем другим, отчетливо возникает нравственно-возвышенный идеал народа, его заданное самой природой назначение на этой земле, исполнить которое он стремится, даже если и не умеет это сделать. Даже если так. А кто из нас может сказать о себе, что он уже исполнил, что он вот-вот наилучшим образом исполнит свое истинное назначение?

От этого неумения, и правда, иной раз жить не хочется, но жить все равно надо именно для того, чтобы делать шаги в направлении к идеалу, и вот эта боль, которая возникает от несоответствия действительности идеалу, тоже отличает истинно народную литературу.

Вот и Распутин она отличает.

Он знает, что такое действительность. И он знает, что такое тот идеал, прежде всего — духовный, который в народе, несмотря ни на что, живет, знает, что народ думает о самом себе как о носителе социальной, национальной, исторической справедливости.

Он знает, сколь велик грех национальной зазнаваемости и гордыни, и знает, сколь значительно национальное сознание, на что оно способно, тем более когда дело заходит о выживании народа, о том, чтобы сохранить самого себя в этом мире.

И если говорить о литературе, то сохранить не за счет лишь положительного героя, а за счет прежде всего самой литературы, ее положительной роли.

У Достоевского положительного героя, по существу, нет, у Салтыкова-Щедрина нет тем более, но кто же будет сомневаться в положительном значении этих писателей?

И нет в этом знании, в этой боли ретрорада, а есть совершенно необходимая дееспособность.

Вот и нынче, когда жизнь всех нас — городских и деревенских, просвещенных и недостаточно грамотных, затравленных и фольклористов, — всех-всех подвела к пропасти, на краю которой мы решаем, быть нам или не быть в смысле ядерного безумия, в смысле проблем экологии, — кто вышел на этот передний край, кто явился защитником нашей матери-природы, матери-земли?

Да именно они и вышли, эти ограниченные и патриархальные деревенщики.

Почему вышли? Что их на тот край вдруг привело?

Все та же боль и привела, все тот же идеал, которым народ живет, все та же святая обязанность жить во что бы то ни стало — жить народом и дать жизнь потомкам своим.

Если человек писал романы и еще, скажем, нечто публицистическое и все это было его весомой моральной и физической нагрузкой, то с момента, когда он вступил в борьбу за природу своей страны, эта нагрузка увеличивается по крайней мере вдвое. Я это знаю.

Какой такой был опыт общественной деятельности, публичных выступлений, переписки с инстанциями у Абрамова, у Белова, у Астафьева, у Распутин, у Кручина? Никакого не было, а вот понадобилось, вот схватила за горло необходимость, и откуда что взялось? И отступили куда-то в тень завзятые знатоки деловой переписки, постоянные посетители высоких кабинетов и прочие официальные деятели литературы, и ни с кем не боясь испортить отношения, стали наши деревенщики действовать так, как никто другой, и проявились в них качества и характеры, о которых они и сами-то, должно быть, не подозревали.

Тогда народная черта: слишком хорошо и точно зная все свои качества и весь свой характер — это черта не народная, другое дело — самого себя открывать по мере действительной необходимости.

Разве Распутин тому не пример?

Пример. И потому, говоря о нем, именно о нем, и еще продолжим разговор о том же: народ, без осознания самого себя как некоей положительной величины этого мира, уже величина отрицательная и по отношению к самому себе, и по отношению к человечеству.

Нравственный же идеал, положительную величину можно выразить только на родном языке, и тем убедительнее, глубже и шире, чем богаче этот язык.

Этой выразительности родного языка и этим приложением его к вечной теме нашей жизни, а не только литературы, — к теме нравственности Распутин и дорог нам сегодня. Тем же он будет дорог нашим детям и внукам, если они окончательно не свихнутся и не отстранятся от собственной истории и собственного языка, что само по себе уже будет их погубить. Тем же он дорог и читателям иноязычным.

Наверное, это не значит, будто Распутин достигает некоего идеального понимания идеала, но он так переживает свою боль за него, за его судьбу, что боль эта становится его собственной истиной. И нашей тоже.

Конечно, история знает немало примеров в прошлом, знает такие примеры и

современность, когда этот идеал гипертрофирован, а всякая гипертрофия уже не идеальна, и тут-то и возникает национализм со всеми его страшными последствиями, но ведь и без идеала тоже нельзя, и потому, наверное, в каждой литературе всегда должны быть писатели, должны быть писатели, которые чувствуют нечто даже большее, чем сам этот идеал, — он чувствует его истинную меру, ту, которая необходима, чтобы его народ естественно вписывался в сообщество других народов, соотносился с ними. В самом процессе этого соотношения тоже ведь заключены огромные культурные и духовные возможности, настоящие требования к себе писателей.

В этом процессе заложен тот огромный потенциал интеллекта, который искусство не может и не имеет права миновать.

Вот так: для ученого важен результат его исследования, для художника — сомнения на пути к достижению некоего результата, далеко не окончательно сформировавшегося в его собственном сознании.

Только писатель средней руки, сдавая рукопись редактору, способен красноречиво доказывать, сколь высокие результаты он уже добился, как необходим его труд человечеству — представить в такой роли народного писателя Распутин невозможно.

Сколько раз приходилось мне убеждать Распутин в том, что его произведение — высокохудожественно, он не верил. И ведь действительно — его сомнения и становятся для нас истиной. Не будет их — не будет и ее.

И вот уже я боюсь, что распутинские старухи в самом деле умрут, умрут во мне, в моей памяти, в памяти других навсегда. Это страшно... Страшно ведь, когда мы начинаем замечать, что забываем своих отца и мать. Страшно не просто так, не только из неосознанности, но и вполне логически: мы знаем, что если исчезнет для нас прошлое, тогда исчезнет и настоящее, и будущее, — нельзя открыть другую планету, подобную Земле, нельзя начать жизнь сызнова на Земле, нельзя написать заново первую заповедь, нельзя создать произведение искусства без памяти о прошлом, ничего нельзя без прошлого.

Вот недавно мудрый башкир Мустай Карим сказал мне, что человек не должен исчислять свою жизнь со дня своего рождения, исчисление это нужно вести от дня рождения его матери.

Он сказал это по другому поводу, но это было сказано и о Распутине.

И о Белове. И о Шукшине. И о Трифонове. Народность — это та же преемственность, а без преемственности — мы кто? Без врожденного инстинкта сохранения — кто?

Есть, есть в мире спасители и спасительницы — распутинские старухи тоже среди них, и мы не можем позволить себе такую роскошь, как роскошь раскаяния: сначала забыть, а после, раскаявшись, снова вспомнить. Мы слишком долго пользовались этим роскошеством, но нынче это уже устаревшее, а вовсе не новое мышление.

Тем более что нравственность в наше время не может быть чуждой только потому, что она или слишком молода, или слишком стара, что она того, а не этого социального происхождения.

Мы знаем также, что и небольшой народ может выдвинуть множество творцов, в том числе и гениальных, что самое чувство народности не зависит от численности народа.

И пусть без конца разграничиваются на кланы, школы и направления безнравственность и агрессивность, единения им никогда и не было дано, а вот миролюбие и нравственности оно дано — нужно этим пользоваться.

Распутин — писатель единения именно в силу своей народности, ведь единение и возможно, и желанно только с чем-то значительным, с чем-то представительным и отчетливым, с первым встречным поперечным, тем более — с самоуверенными и непоколебимыми в своей самоуверенности единения быть не может.

Я чувствую это всякий раз, когда читаю Распутин, потому что он никогда не пропагандирует, не обращает меня в свою веру. Отнюдь, он все время намекает: «Брось ты меня читать, ничего я тебе не обещаю. Ничего интересного, ничего завлекательного и даже — ничего нового, никакой особенной информации... Высоких слов я сам боюсь, как огня, а без высоких — к чему я тебе?»

Самое удивительное, что он ведь прав, что все так и есть — ни завлекательности, ни информации, ни статистики, ни казуистики, ни рублиной фразы, ни фраз на страничку-другую... Все старо, как мир.

Но в том-то и дело, что — «как мир». Когда «как мир», нам уже становится не столь важно — сегодняшний это мир или вчерашний. Мир вечен, а приобщение к вечности — такая задача для литературы более существенная.

Какое может быть приобщение к сиюминутности? Что будет стоить наше новое мышление без истин вечных и непоколебимых, без чувства истории, без исторического опыта? Больше того — чем больше всего этого включает новое мышление, тем оно не только убедительнее, но и богаче, и современнее. И потому, что всякое новое есть давно забытое старое, и потому, что мы забыли многое из того, что забывать не должно, ни в коем случае не должно, и современность тем тверже стоит на ногах, чем больше она помнит.

Кажется, ни о чем этом Распутин не говорит в своих произведениях.

Не говорит, но всему этому от первой до последней строчки его произведения посвящены. Стиль его настолько испытан временем, настолько совершенен, что «сами его стилистические приемы перестают быть только приемами, а тоже становятся содержанием произведения. Это полное слияние формы и содержания, полное соответствие их друг другу и есть высшая художественность, и свойственна она опять-таки прежде всего творчеству народному. В издании народных умельцев, в фольклоре — где там форма, а где содержание? Народ-художник никогда и не задумывается над проблемой такого рода, она для него не существует, потому и творения этого художника тысячелетних давностей мы и сегодня воспринимаем как школу гармонии, как саму природу. В предметах природы тоже ведь эти проблемы нет — в формах растений или животного нет ничего лишнего и в то же время полностью воплощено их содержание, их функции и назначения.

Другое дело — мы, люди.

Ах, как не хватает нам этой гармоничности и в повседневной жизни, и в искусстве!

У нас от нашего содержания, от наших замыслов до единства возможной, до оптимальной формы их реального воплощения — дистанция огромного размера, а часто и непреодолимая дистанция.

Но дело даже не в том, чтобы всегда и всюду эту дистанцию преодолевать от начала до конца, это утопия, реальность же заключается в том, чтобы она, гармоничность, пусть иногда, но являлась нам, чтобы пример всегда был перед нами, чтобы мы знали, что она возможна, потому что неизвестно — может ли быть то, чего не было никогда, но то, что было когда-то, может повториться снова и снова. Это-то мы знаем.

В этом — народность литературы, в этом — смысл классики.

Не знаю кто, но я уверен, что и в наше время такая литература существует. Что она — среди нас.

Фото Фридриха ШРАЙБЕРА (ГДР)

